

Аркадий Макаров

*Красная
шапочка*

рассказы



Аркадий Макаров

Красная шапочка. рассказы

«Издательские решения»

Макаров А.

Красная шапочка. рассказы / А. Макаров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-749738-5

Книга рассчитана на взрослого читателя. В тексте встречаются озорные сюжеты молодости автора. Эта проза относится к разряду хоть и не «соц», но реализма. Вперёд, читатель!

ISBN 978-5-44-749738-5

© Макаров А.
© Издательские решения

Содержание

Красный сок смородины	6
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Красная шапочка
рассказы
Аркадий Макаров

© Аркадий Макаров, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Красный сок смородины

Хорош город Тамбов! Хорош. Лучше не бывает. Дымы фабричные рукавом по небу. Улицы мощеные. Дома со ставнями. Не как у нас в селе, где все нараспашку – гуляй ветер...

Иду я себе, посвистывая, на вокзал к автобусу, чтобы снова вернуться в Бондари – скоро в школу.

Хорош город Тамбов, а Бондари лучше: пыль на дорогах помягче, да и люди все свои – здравствуй, дядя Федя! Здравствуй, дядя Ваня! Здравствуй, тетя Клаша!..

Тапочки, подаренные дядей, я снял и сунул их в сумку с бабушкиными гостинцами. «На тебе на мороженое!» – дядя, похохатывая, но после болезни как-то реже и глуше, положил мне в руку бумажку. Теперь денег на дорогу у меня – ого-го! сколько. Сразу не потратишь.

Взяв с первого же лотка в поджаренном, как хлебная корочка, стаканчике мороженое, я, поглядывая по сторонам, важничал, на ходу слизывал языком сладкую снежную пену, надкусывал краешек хлебного стаканчика и похрустывал, похрустывал, изнемогая от необыкновенного вкуса.

К этому времени я уже достаточно изучил город, где меня часто посылали одного за солью, хлебом или еще за чем. Однажды дядя мне даже доверил принести трехлитровую банку пива, которую я, правда, донести не сумел. При попытке узнать, что это такое – пиво, банка выскользнула у меня из рук и, до крови размозжив большой палец ноги, разбилась вдребезги.

Для доказательства своей невиновности я бережно собрал осколки, все до единого, сложил их в сетку-авоську и, прихрамывая, притащился домой. Дядя оценил обстановку сразу же. Улыбка недоумения быстро сошла с его губ.

Зажав мой воротник в горсти, он поволок меня за сортир. Все, будет бить – подумалось тогда еще мне. Но дядя, повозившись в брюках, вытащил наружу свое внушительного размера мужское приспособление для деланья детей и стал поливать мою сочащуюся кровью ступню. Ступню страшно щипало, я дергался, но из дядиных рук вырваться было бесполезно.

К моему удивлению, после этой экзекуции цыпки перестали чесаться, а кровь из пальца ноги остановилась. Дядин инструмент снова нырнул в брюки, и он, шлепнув меня легонько по затылку, отправился к бабушке просить денег, хотя бы на кружку пива.

Город я уже знал хорошо и, проглотив мороженое, снова выискивал глазами лоток, где можно без хлопот купить столь удивительное по вкусу лакомство. Но рядом лотка не было, и я завернул к вокзалу. Он располагался тогда на месте нынешней филармонии, вернее, филармония была построена как раз на фундаменте того здания, в котором располагались автовокзал и прилегающие к нему гараж и мастерские.

Хорош город Тамбов! Хорош! Но меня почему-то при виде вокзала сразу потянуло домой, да так, что я, забыв про мороженое, кинулся со всех ног в билетную кассу. У кассы была длинная очередь, а стоять в очереди мне в этот раз почему-то не хотелось. Ведь не хлеб же давали, а маленький кусочек бумаги, а домой очень хотелось.

Медленно, но верно я протискивался бочком-бочком к самой кассе – такому маленькому, полукружьем зарешетчатому окошку. Вот только стоит протянуть руку с моими рублями... Окошечко загораживала широкая спина какого-то дяди. Я – туда, сюда! Нет! Не дотянуться.

– Ах ты паскудник! Щипачонок гребаный! По карманам шнырять! – дядька, обернувшись, выхватил у меня деньги.

– Ай, – коротко всхлипнула какая-то тетя и стала бить себя руками по животу и карманам плюшевого жакета, словно курица-чернушка крыльями. – Вот они, деньги-то! Ишь, гаденьш! Так смотрю-смотрю, он чево-то притирается-притирается. Цыганок приبلудный, – тетка быст-

рым движением руки вырвала у нерасторопного мужика выданные бабушкой мои на дорогу деньги и быстро засунула их за пазуху. – В милицию его, щенка цыганского!

Моя смуглая загорелая внешность с черными, начинающими виться и лохматиться волосами, босые ноги обманывали очередь. Правда, «Цыганок» – это была моя всегдашняя деревенская кличка.

– Вот до чего, твари, обнаглели! Середь бела дня и – по карманам, по карманам.

– Зарежет, сучонок! У нас в деревне был такой случай...

Но говорившего, какой кровавый и жуткий случай был у них в деревне, перебили.

– Вот только что милиционер был. Куда он подевался? Всегда так – чуть что, а милиции нет!

Очередь стала сразу оглядываться и шарить вокруг себя глазами. Действительно, куда милиция подевалась? Я бы ей все объяснил...

– Какая там милиция! Еще в свидетели запишут, – мужик одной рукой схватил меня за шиворот, а другой за пояс штанишек, да так, что жесткий рубец крепчайшей хлопчатой ткани врезался мне в промежность так больно, что ноги сами собой оторвались от пола, и я повис в воздухе. Мужик, немного качнув меня, выкинул в открытую дверь, и я пропахал несколько метров на животе по еще влажному со вчерашнего дня песочку. Рядом возводилась какая-то пристройка, и кругом был рассыпан песок, что немного смягчило удар о землю. И я заплакал. Нет, не от боли в мошонке, которую защемил рубец грубой ткани штанов, не от боли в груди, которой я ударился, – мне стало страшно. Страшно и обидно. Я здесь совсем чужой. Меня приняли за шпану, за карманника, за безродного цыганенка, за попрошайку. А я ведь собирался ехать к себе домой, к родителям, в Бондари... А меня вот так, с налету.

Я поднялся и, не стравивая налипший песок, спрятался за соседние кусты, выглядывая, пока пройдет вся очередь.

Люди разошлись, помещение кассы опустело и, я, имея еще в запасе не проеденные на мороженое деньги, подался к окошечку и, оглядываясь, как бы кто-нибудь меня снова не принял за вора, тихо попросил билет до Бондарей.

Все-таки успел взять, заветная бумажка оказалась у меня в руках, и я пошел искать свой автобус.

Он уже стоял, недовольно фыркая двигателем, вот-вот готовый сорваться в путь-дорогу. Правда, дверь была еще открыта, и я нырнул в пахучую бензиновую утробу. Резкий запах табака, смешанный с бензиновым ароматом, будил какие-то до сих пор не известные мне чувства, далекие и радостные – дух странствий.

Позже, много позже, вспоминая этот эпизод моей жизни, написались такие строчки: «Вечерами сентябрь соломенный, и закаты плывут вразброс... О, автобусы, межрайонные! Как печален ваш бывший лоск. У дорог, знать, крутые горки, У шоферов крутые плечи... Пахнут шины далеким городом и асфальтом, и близкой встречей». А боль и та недобрая очередь почему-то забылись сразу же, как только я сел на черный дерматин мягкого сидения.

Впервые я оказался в городе с моим родителем, суровым и скорым на руку, как все мужики того времени: у кого руки-ноги нет, у кого темя, как у младенца, не зажитым родничком дышит, у кого – еще что.

У моего отца был выбит левый глаз. Как это произошло, я не знаю. Родитель не очень-то распространялся на этот счет, да и вообще о войне вспоминать не любил, только когда при случае выпьет, обхватит руками голову и тяжелым грудным голосом поет одну и ту же песню, как «В его зачесе гроздь рябины тупая пуля разлила...»

Мать тогда валила его на лавку, накрывала старой ватиной, и долго еще под ватиной слышались горькие слова песни, перемежающиеся матом, таким же горьким и глухим.

Вообще, отец, когда был под хмельком, то заметно добрел и был по-своему нежен. В трезвом виде его не тронь, а по пьяному делу из него можно было веревки вить, что мы с матерью и делали.

В один из таких моментов, собираясь проведать свою родню, отец решил прихватить и меня – «Чтоб бабку, подлец, не забывал!» – с собой в город.

И вот мы идем с вокзала, который, к моему удивлению и разочарованию, оказался совсем без колес, а просто белый кирпичный сарай, набитый людьми, мешками, баулами и табачным дымом. Отец в буфете немного накинул за воротник, и я бежал теперь за ним, на ходу глотая закуску, которая ему полагалась после водки – сочащийся жиром блинчик, свернутый трубочкой и проложенный промасленной бумагой. Блинчик был таким, что я еще долго потом вспоминал его вкус, мясной и луковый запах, исходящий от него.

Город тогда мне показался настолько огромным и запутанным, что я боялся, как бы отец не заблудился в этих мощеных и немощеных улицах и дорогах, а то где же мы заночуем тогда?

На этот раз я приехал в Тамбов уже лет через шесть-семь с заветным адреском а кармане, уже один, уже большой, уже умеющий читать названия улиц, и заблудиться, ну, никак не должен.

Стояло тяжелое время, и меня надо было в летние каникулы как-нибудь подкормить, поправить после долгой голодной зимы.

Бегство в город было единственным спасением от раскулачивания семьи моего отца, и теперь в Тамбове жила его мать, моя бабушка, с сыном и дочерью, моими дядей и тетей. Дед умер рано, и я его совсем не помнил, говорят, мужик был хозяйственный и умный, который не вынес нищенского существования без привычных ему крестьянских забот. В Тамбове они купили маленький домик на Ленинградской улице, в тупичке зеленом и мирном. Не то, чтобы они бедствовали, но жили тихо и небогато на некоторые сбережения после продажи хозяйства и на дядину зарплату, небольшую, но стабильную. Тетина зарплата в счет не шла, так – на шило, на мыло, на женские безделушки. Да, кажется, тетя в то время уже вышла замуж и жила отдельным хозяйством, но под одной крышей, и бабушке приходилось еще выкраивать и на молодую семью...

Детская память настолько цепкая, что я шел по тому старому маршруту от самого вокзала и сразу же нашел дом моих желанных родственников. Возле дома стояла водопроводная колонка, и я, плеснув несколько раз в лицо водой, вытерся рубахой и тихо постучал в дверь.

– Ах, мой касатик! Ах, моя ласточка! – бабушка Фекла все гладила и гладила меня по голове и все подсовывала булку, густо намазанную вареньем, пока я, захлебываясь, пил сладкий «в накладку» чай.

Дядя сидел в это время напротив меня в своей вечной зеленой гимнастерке, он после войны остался служить в местном гарнизоне на какой-то незначительной должности, и все похохатывал и похохатывал, безобидно подначивая моей деревенской конфузливости и неумению прихлебывать чай из блюдца. А на столе важным генералом, сверкая орденами, пузатился и фыркал ведерный самовар. Очень уж любили мои родственники пить чай непременно из самовара, заваривая крутым кипятком черный прессованный брикет. Чай получался душистым, тёмно-красного цвета и кисловатый на вкус. Такой чай я больше уже никогда не пил. Перестала наша пищевая промышленность делать фруктовый чай, или разучилась.

Дядя, контуженный на войне, но еще крепкий молодой мужик веселого нрава любил со мной по-товарищески поозорничать и подшутить, да и я его не раз разыгрывал, делая всякие, как теперь говорят, приколы. За один такой прикол, хотя дядя за него со мной вполне рассчитался, мне до сих пор смешно и стыдно. Переиграл я все-таки мужика своей ребячьей хитростью.

За утренним чаем я поспорил с ним, что вот этим чапельником с обожженной и засаленной ручкой я его свяжу, да так, что он не сумеет шевельнуть ни рукой, ни ногой. Дядя,

похохатывая, принял мое условие, сказав, что если ему не придется освободиться, то он мне с первой же полочки купит ботинки, а то нехорошо по городским булыжникам шлепать босыми ногами. Летней обуви у нас в деревне тогда не водилось, и я, конечно, прибыл из Бондарей, обутый в собственную кожу, прочней которой на свете не существует, а то, что она кое-где полопалась и в запущенных цыпках, то это не в счет.

Связать палкой человека – проще простого. Дяде и в голову не пришло, как это можно сделать. А делается это очень даже просто: надо положить человека спиной на пол, просунуть сложенные крест-накрест руки ладонями к груди в расстегнутую на две-три пуговицы рубашку, затем поднять согнутые ноги к локтям и под колени и локти просунуть подходящую палку метр-полтора длиной – и все, никакими усилиями человек сам уже не сможет освободиться, если только не порвет рубаху, что сделать в таком положении почти невозможно. Попробуйте это сделать со своим приятелем, и вы убедитесь в безотказности приема. Мы, мальчишки, не раз проделывали это друг с другом.

Бабушка ушла занимать очередь в булочную, приказав и мне позже следовать за ней, чтобы взять хлеба в два веса. А очереди, надо сказать, тогда были не просто большие, а огромные. Обычно люди приходили к магазину за несколько часов до открытия, и только где-то к обеду можно, если посчастливится, подойти к заветным весам. Эта обязанность всегда лежала на мне, но сегодня бабушка решила взять две отпускные порции, одной нам всегда хватало с натягом.

Как только бабушка ушла, я положил дядю, уже одетого для службы в галифе и гимнастерку, на обе лопатки, просунул в отворот гимнастерки, как и положено, руки, просунул между ними чапельник, а затем, не без труда, завел за ручку согнутые колена – и все! Человек на приколе!

Дядя, кряхтя и похохатывая, остался лежать на полу, как перевернутый майский жук, еще не совсем понимая всю сложность своего положения.

Я, весело посвистывая, беспечно выпорхнул на улицу и убежал следом за бабушкой в магазин. Кстати сказать, стоять в очереди приходилось так долго, что однажды у меня от напряжения так расперло мочевой пузырь, а я, как все деревенские, был стеснительным и писать за углом в городе при всей ситуации, ну, никак не мог – дурак, конечно! – что потом, кое-как дотавившись до дому, никак не мог опорожниться, и моей бабушке пришлось идти за молоденькой медсестрой, только что окончившей медучилище, и она долго приспособилась, зажав в руках мой секулек, и все совала и совала катетер, пока я орал и корчился от нестерпимой боли. Потом пришло облегчение. До сих пор я содрогаюсь, вспомнив эти манипуляции. Зато потом я долго гордился среди своих сверстников тем, что вот это мое мужское достоинство однажды лежало в девичьих ладонях.

Так вот, я оставил похохатывающего дядю в позе майского жука, а сам преспокойно стоял в очереди с бабушкой вместе.

В этот день в булочной было особенно много народу, и нам пришлось стоять в очереди дольше обычного, за что я получил даже хороший, еще теплый довесок и теперь трусил вслед за бабушкой, перемалывая зубами вкуснейшую коричневую хрустящую корочку. Об утреннем приколе я даже и не вспомнил.

Дома меня ждало невероятное. Дядя с затекшими ногами и руками, с выпученными на красном лице глазами стонал и матерился, крутясь на одном месте, нет, не как перевернутый жук, а, как шмель, когда его, отмахиваясь, сшибешь на землю.

Бабушка с недоумением посмотрела на меня, потом, не без труда, вытащила чапельник, а дядя, перевернувшись на живот, цепко ухватил меня за щиколотку: я всей кожей почувствовал, что он меня сейчас начнет бить.

Одной рукой держа мою ногу, другой он быстро расстегнул свой широкий армейский ремень с тяжелой медной бляхой и начал охаживать так, что бабушке с трудом пришлось меня от него оттирать.

На службу он, конечно, опоздал, за что получил взыскание и денежный убыток – времена были строгие. Но уговор дороже денег! Как мы и спорили, дядя купил мне крепчайшие тапочки, пошитые из брезента с подошвой из транспортной ленты, в которых я этот год ходил в школу до самых снегов. Износить мне их так и не удалось – нога выросла.

Чувствуя свою вину, я, конечно, зла на дядю не держал, да и он, по всей видимости, тоже – «Кабы не денежный начет, я бы тебе кожаные сандалии справил».

Дядя потом еще долго рассказывал своим сослуживцам о моей проделке и сам как-то выиграл такой же спор, только на бутылку водки, у соседа-однополчанина: за что купил – за то и продал.

Подсмеиваться надо мной он уже стал реже, хотя всегда шутил с добродушием.

Жалко дядю, он мне доводился крестным, ушел рано – подвело сердце, то ли сказала контузия, то ли один случай, сыгравший для него роковую роль. Дядя конвоировал двух заключенных преступников из местной тюрьмы на вокзал к этапу. Стоял ясный летний вечер, при вокзальная площадь была заполнена народом – пассажиры ожидали каждый свой поезд, а гуляющие горожане просто отдыхали, пользуясь хорошей погодой.

Один из конвоируемых, качнувшись в сторону, быстро нырнул в толпу и зигзагами, сшибая ошалевших прохожих, уходил в направлении железнодорожного депо. Там, за мастерскими, он был уже недосягаем.

Что делать? Ловить отчаявшегося на побег преступника – другой, оценив ситуацию, делает то же самое. Упустить бандита – самого засудят и загонят за Можай лет на пять-шесть за пособничество.

– Не бойсь, начальник! Не убегу, мне жить охота, – сказал оставленный конвоируемый и тут же присел на корточки, сжав на затылке пальцы рук.

Толпа шарахалась от беглеца в стороны, образовав возле него пустой коридор. До мастерских оставалось метров двадцать-тридцать, а там – лови, не догонишь! Но люди, люди снуют! Дядя скинул с плеча карабин и первым выстрелом с колена – еще была не забыта боевая выучка – достал убегающего преступника и воткнул ему тяжелую пулю промеж лопаток. «Господь тебя спас! Господь! Не дай Бог задел бы кого, ведь люди кругом!» – сокрушалась моя бабушка, уже потерявшая на фронте самого младшего сына Ивана. Лежать ее Ивану в Витебских болотах вечно. Ни звезды, ни креста. «Господи! – вскидывалась бабушка. – Беда-то какая, беда...» Дядя сидел за столом, тупо уставившись в одну точку. Лишь только кривился, гоня туда-сюда желваки на скулах, как будто кусал и никак не мог перекусить нитку. Сцепленные руки тяжело лежали на белой в черный крестик скатерти. Потом он, охнув, поднялся, подошел к лежанке на печи, где находилась до зимы всякая рухлядь, достал старый валенок и вытащил из голенища бутылку непечатой водки. Такой у него был заглашник. Стряхнув сургуч, он вылил бутылку в алюминиевую кружку и тут же залпом выпил – бабушка слова не сказала. Выпил и, стащив через голову гимнастерку, лег на кровать, уткнувшись носом в стенку. Гимнастерка была в черных подтеках, засахарилась и коробилась жестью, как будто дядя перед этим опрокинул на себя миску с протертой смородиной.

Как раз перед этим бабушка принесла с базара целое ведро отборной черной смородины. Ягоды были крупные и лаково блестели на солнце. Поставив смородину в тенечек за домом, она велела мне обрывать с ягод засохшие жесткие соцветья «усики». Смородина была крупной, сочной, сквозь тонкую кожуру которой просвечивала темно-красная мякоть. Такой смородины у нас в Бондарях не водилось, я это знал точно. Сады, которых тогда было наперечет, я все неоднократно обыскал. Кусты смородины, если и попадались, всегда жухлые, с жестяными листьями, и смородинки на них такие мелкие, мельче горошины. За час, сидя под кустом,

можно собрать разве только одну пригоршню, которую тут же и проглотить. А эта смородина была уже собрана и сама просилась в рот, ну, просто умоляла себя потрогать и руками, и языком.

Я с редким удовольствием согласился перебирать смородину, освобождая ее от жухлых соцветий. Бабушка даже удивилась моему рвению. Она внимательно посмотрела на меня, вздохнула, зачем-то погрозила пальцем и ушла в дом. Работа закипела. Две-три смородины в таз – одну в рот, две-три смородины в рот – одну в таз. К моему удивлению, в тазу ягоды было еще много, и она уже была готова к дальнейшей обработке.

Привернув мясорубку к столу, бабушка посмотрела в таз, не сказав ничего, снова вздохнула и велела мне прокручивать смородину. Я крутил, бабушка сквозь мелкое сито еще раз протирала ягоду, и работа у нас шла чередом. В стеклянной трехлитровой банке уже было достаточно густого темно-красного, почти черного смородинного желе, и бабушка пошла в чулан за сахаром. Пока ее не было, я наспех, кое-как глотнул из банки, но не рассчитав, часть сока выплеснул на рубашку и этого подтека мне было уже не скрыть. Чтобы бабушка что-нибудь не заподозрила, я стал рыться в сите, где были остатки смородины, нарочно вымазав рот, руки и подбородок в ягоде. Бабушка, вернувшись, всыпала мне подзатыльник, отчего сразу же сделалось скучно, и я потерял всякий интерес к работе.

Видя мою нерадивость, бабушка прогнала меня на улицу. На солнце пятна на рубашке зачерствели, а руки стали липкими, и мне пришлось идти под колонку ополаскиваться. Руки я вымыл, а вот залитые пятна на рубашке совсем забыл, и бабушка потом их долго замывала в растворе каустика-сода – мыла не достать. Раствор делался таким, чтобы отъедало только грязь, а не кожу. Химический ожог от невнимательности можно было получить запросто.

Так вот, пятна и подтеки на выгоревшей, белесой от солнца и неоднократных стирок дядиной гимнастерке тоже были бурые, почти черные, точно такие же, как от сока смородины.

До меня тогда не доходил весь ужас случившегося. Помнится, я даже завидовал дяде, что он был на войне, что имел ранения и контузию, что у него есть настоящий карабин, и он может в любое время из него стрелять, что вот недавно убил бандита, пытавшегося совершить побег, а бандитов в то время я ужасно боялся. Ложась спать, я всегда просил бабушку посмотреть, крепко ли закрыты наши двери. Тогда тема убийств и грабежей в разговорах взрослых была не редкой. В Тамбове всю гуляли шайки всевозможных блатарей. Воры в законе были самыми легендарными личностями, ну, как, скажем, Чкалов, Ворошилов, Котовский...

Назавтра дядя получил денежную премию и отпуск, а скоро его свалил сердечный приступ. Первый в жизни. Дядя тогда из него насилу выкарабкался.

Всякий раз, вспоминая моего крестного, я вспоминаю и подаренные им тапочки на подошве из транспортерной ленты, которым так и не было износа...

Качнувшись и громыхнув сцеплением, автобус медленно тронулся, и мы выехали через улицы и переулки, через большой деревянный мост на песчаную и пыльную дорогу, ведущую на Рассказово и Бондари. Асфальта в этом направлении тогда еще не было, автобус, изредка пробуксовывая в колее, нещадно дымил, как будто выхлопная труба выходила прямо в салон. Но все же мы ехали. Народу на Бондари было мало: какой-то дедок, несмотря на еще стоящую жару, в выцветшей телогрейке, да пяток женщин с кошелками и узлами на коленях. Я придвинулся к окошку, обозревая с любопытством пригородный лесной массив. Для меня, выросшего в степном селе, лес и до сих пор остается загадкой и святым местом. Плывущие в бесшумном и тихом танце за окном березки, темные крыши елей – таинственное и чудное царство природы. Совсем другой мир. Мир сказок и моих детских мечтаний, грез...

– Манька, а Маньк? – от нечего делать зевнув, обратилась к соседке сидевшая напротив меня рябоватая женщина в грубом серого цвета платке ручной вязки. Платок был старый с извилистыми тропками-бороздками – следы прожорливой моли. Баба держала впереди себя на коленях черную клеенчатую сумку, из которой торчали белые поленицы батонов и еще

что-то неопределенное. – Я вот что тебе скажу. Опять живот выше носа задирается? И как это ты умудряешься всякий раз залетать? Одного бы, или двоих настрогала и – хватит! А то вон ртов сколько. Да разве этих оглоедов теперь прокормишь? Одних ложек не напасешься. Ну, ты, прям, как крольчиха.

– Да я что! Да разве этого кобеля удержишь? Его с намордником только подпускать, – вяло улыбнулась ее соседка с мятым, одутловатым лицом в коричневых разводах, как будто легкая ржавь по воде. Соседка была явно моложе первой, но тоже в стареньком самовязаном платке и в зеленой, грубой шерсти, тоже самовязаном жакете, застегнутом только на одну верхнюю пуговицу, нижние на животе не сходились, и полы жакета разъехались, показывая огромный раздутый живот, обтянутый темным сатином, где пуговицы были частые-частые, как на гармошке.

– Так вот смотрю я на тебя и думаю: зачем это она в городе оказалась? Детей в школу провожать, а она в Тамбов поскакала. Чудно! – продолжала первая женщина, та, что сидела с клеенчатой сумкой.

– Нужда заставила тащиться в такую даль, – опять улыбнулась горькой улыбкой та, что с животом. – По женскому в гинекологии была. Да что там! Нужны мы им. Они пощупали, пощупали, на рогачи поставили. Я думала: ну, все, опростаюсь. А они сказали – «Носи!» Вот я и ношу, – неопределенно развела она руками. Конечно, тяжело придется, ну какая я теперь работница? Корову за сиськи дергать еще можно, да куда я от мальчика? – женщина погладила себя по животу и отвернулась к окну. – Гляди-ка, мы уже Столовое миновали, теперь к Марьевке подъезжаем! До Керши рукой подать.

Я посмотрел вслед за женщиной в широкое, в мелких трещинах, желтоватое окно автобуса. Стекло кое-где отслоилось, и в этих местах уже проглядывала чешуйчатая слюда. Автомобильные стекла в то время были двухслойные со слюдяной прокладкой между слоями, так что при столкновении с препятствием стекло не образовывало режущих осколков и не осыпалось, приклеенное к слюде. Теперь слово «слюда», кажется, уже забыто. Теперь технология автомобильных стекол совсем другая. Стекло при ударе сразу же превращается в крошево, наподобие колотого льда на осенних лужах.

В желтоватом окне мне был виден колодезный «журавель», которого за длинную шею держала девочка, примерно, моя ровесница, пытаясь зачерпнуть ведром волю. Две косички раскачивались в такт ее движениям: «Пей! Пей, журавушка!» Но «журавель» упрямылся, пить никак не хотел и вдруг резко дернулся из колодца. Ведро взметнулось вверх, прыгнуло на цепи и закачалось маятником, облив девочку с головой. Девочка щепотками вздернула платье, стряхивая с него воду, из-под платья виднелись, как перевернутая рогатка, тонкие ножки, только по воробьям стрелять. Нет, я бы этого журавля осилил, я бы заставил его пить. У меня бы он не артачился...

Но вот уплыла незадачливая девочка с острыми коленками и двумя косичками без бантиков и ленточек, только узелки по концам, и все. Это только в кино девочки такие красивые и обязательно с бантиками, а в жизни они все одинаковые, со своими птичьими руками и всегда мокрыми губами, обмеченными по краям дурнотой, «заедами». Показались низкие нахохленные, как зябкие осенние куры, под соломенными крышами избы. Многие были к зиме покрыты новой соломой, под которой будет тепло и уютно в метельные дни.

Избы нырнули за частокол деревьев и скрылись из виду. «Марьевка» – название-то какое! Не хватает еще «Ивановки», Иван-да-Марья – целый букет.

– Я вот что тебе, товарка, скажу. Ты меня слухай, слухай и не отворачивайся. Чем детей-то кормить будешь? Трудодней – никаких. Бригадир за «так» палочки ставить не будет, да ты ему – ни посля родов, тем более теперь годна не будешь. Кто пузо-то накачал, не он ли? Не Федька Шлеп-Нога? – услышал я заинтересованный шепот той, что с клеенчатой сумкой.

– Да нет. Куда я ему, у нас в Ивановке, – я обрадовался. Точно! Иван-Ивановка! Вот совпадение какое! Мне вспомнилось, что есть такая деревня – Ивановка, километров шесть-семь от Бондарей, но я там никогда не был, а слышать слышал, – У нас в Ивановке, – женщина смущенно передернула на животе кофту, – и без меня незамужних вдоволь. Косой не коси, сами ложатся. Война мужиков подобрала, а нам один хромой кочет достался. Ногу-то ему перед самой войной бондарец Лешка Моряк из-за Тоньки Улановой ломом перехватил. Точил на него зло Федька, а ему бы в землю Моряку поклониться надо. Он его, может, от верной смерти спас. Люди на войне головы положили, а этот до сих пор кочет-кочетом ходит. Должность хлебную получил. Один мужик на всю деревню. «Бригадир блины пек, счетовод подмазывал. Председатель блины ел – никому не сказывал», – неожиданно повеселела женщина, даже ржавь на лице подтаяла.

– Ну, а если не Шлеп-Нога, то – кто? – баба от любопытства склонила на бок голову, заглядывая своей товарке в глаза.

Та снова передернула стягивающую ее кофту и ничего не ответила.

– Во-во! Кто тебе помогать-то будет? Твоему насосу, кто тебя накачивал, может, свои оглоеды поперек горла стоят. А тебе жить надо. Четверо на лавке, да этот – она небрежно похлопала тыльной стороной ладони по животу соседке. Та тихо отстранила ее.

– Не трави, Нюрка, душу, и без тебя тошно, – опять поскуичнела беременная женщина.

– А я и не травлю. Помнишь Зинку Залетку? Как же, помнишь. Царство ей небесное. Быстро убралась, и пожить не успела. Та тоже вот родила недоношенного и мучилась с ним. И мальчонка мучается, и она. Пока ее кто-то не надоумил этому недоноску под язык положить одну травку, – она на ухо тихо шепнула своей соседке название какого-то зелья. Та испугано отшатнулась, побледнев так, что ржавые пятна на лице совсем исчезли, и лило стало похоже на застывшую маску.

– Что ты, Господь с тобой, Бог накажет. Как же это, ребеночка-то?

– А что ребеночек? Он заснул – и вся недолга. Ангелочком безгрешным на небо улетел, грязи-то на нем никакой. А твой-то, – она покосилась на живот своей напарницы почему-то с уверенностью, что это будет мальчик, – неизвестно еще кем будет. Может, бандит бандитом. Ты на мово посмотри – дебошир и пьяница, пьяница и дебошир. Дурак дураком, как выпьет. Хорошо еще меня не бьет. Говорит: «Ты, мать, еще мной гордиться будешь. Я – как Ленин, – баба испугано посмотрела по сторонам. – Я, говорит, как Ленин, мать-перемать, все по тюрмам да по ссылкам. А ты зудишь, зудишь. Дурак, говоришь? А я как иду по улице выпимши, то мне соседи в след охают: «Ох, хорош! Хорош Мишка идет!» А ты – плохой, да плохой! Так что не ссы, мать! – так и говорит – Не ссы, мать! – женщина с клеенчатой сумкой так ударила кулаком по коленям, что чуть не рассыпала свои гостинцы на замасленный железный пол автобуса и, с обидой поджав губы, отвернулась от беременной и стала уныло смотреть перед собой.

Автобус теперь уже, миновав Кершу, снова нырнул в лес. Более половины дороги осталось позади. Позади остался Тамбов с желанными родичами, с долгими стояниями в очередях, с полузабытой теперь уже обидой за несправедливость на вокзале. Я вздохнул, вспомнив, что на прощанье забыл поцеловать бабушку. С дядей я попрощайся за руку, как мужик с мужиком, а вот с бабушкой... В ушах стоял ее голос: «Касатик мой! Ласточка моя быстрая! – это когда я приносил ей лекарство в постель, или выполнял еще какую-нибудь просьбу. Бабушка была старая. – Восемьдесятый годок доживаю, слава тебе Господи! – и крестится долго-долго, глядя на темно-коричневую от времени икону Божьей Матери. – Прости меня, Заступница Усердная и сохрани чад своих неразумных. Накорми и обогрей их, заслони их платом своим пречистым. Отведи от них лихоманку, – потом, посмотрев на меня, продолжала. – Пошли им усердия, поставь на путь истинный, оборони от войны, пожара и глада, заступись за них пред Престолом Всевышнего, дети они, как есть – дети!» – потом толкала меня к иконе, заставляла встать на колени и просить прощения у Бога за грехи свои вольные и невольные, за неразумность

свою в учебе, за гордыню свою окаянную и за многое-многое другое, чем виноват человек перед Господом. Божья Мать сквозь потемневшую олифу доски смотрела на меня ласково и, как мне казалось, улыбочиво, прощая все мои прегрешения. Руки у бабушки были холодные, сухие и крепкие, как клещи. Она все склоняла и склоняла мою голову к самому полу, заставляя читать вслух «Отче Наш» – одну молитву, за которую Господь прощает даже отпетых грешников. «А тебя простит тем более, не успел ты нагрешить еще... Ну, вставай. Вставай. Иди мыть ноги и ложись спать. Утром рано разбужу, за булками пойдем», – она сама, кряхтя, поднималась с колен, поправляла лампадку и уходила к себе в маленькую без окна темную спальню, отделенную от моей комнаты занавеской. Дядя обычно по вечерам никогда не был дома. «Ухажорит», – говорила про него бабушка. Дядя приходил тогда, когда я уже крепко спал

Дорога через лес была песчаной, взрытой грузовиками, и наш автобус утопал по самые колеса, ехал медленно и с натугой. Из леса тянуло прохладой и грибной сыростью. Я с жадностью всматривался в прогалы между деревьями, пытаюсь увидеть что-нибудь необычное, но в окне, кружась, переступали стволы деревьев да темные кустарники с уже пожелтевшей листвой.

Лес кончился так же, как и начался. Сразу стало светло, как на солнце, хотя день и был пасмурным. Впереди показалось село с обезглавленной церковью, большое и раскидистое, почти как наши Бондари. Это был Пахотный Угол, где я встретился с ней, первой женщиной, заставившей сжаться мое детское мужского начала сердце.

Сквозь стекло, возле сломанной пополам ветелки, ветер ли свалил ее, или кто заломил так, ради баловства, между прочим, проходя мимо, я увидел двух женщин – одна из них пожилая, в черной стеганой безрукавке – отчаянно махала руками, подавала знак шоферу остановиться. Рядом со старой женщиной, одной рукой держась за сломанную ветелку, стояла, покачиваясь, молодая в легком, цвета мокрой травы платье, обдуваемом ветром, как будто его обладательнице куда-то стремительно летела и не могла остановиться. Легкий крепдешин, пеленая ее фигуру в зеленые пелены, прилипал к телу, облегая полукружью ее груди, свод живота и паховую область, пробуждая в моем подсознании досель не известные мне инстинкты. Старая, оглядываясь, что-то резкое говорила молодой и снова начинала махать руками.

Шофер притормозил как раз перед ними. Молодая с белым батистовым узелком в одной руке, неуверенно хватаясь за поручень другой, нет, не вошла, а как-то просочилась в приоткрытую дверь. Старая, зачем-то прикрыв ладонью рот, все крестила и крестила молодую в спину. Слабо улыбаясь накрашенными губами, вошедшая растерянно посмотрела вокруг и медленно, боясь как будто что-нибудь расплескать, опустилась рядом со мной на сидение, все так же придерживая узелок руками, как будто там находилось все самое ценное, что у ней было. Лицо ее побледнело так, что белая пыльца пудры резко выделялась на щеках, а улыбка стала похожа скорее на размазанную помаду, чем на проявление чувства. Не знаю почему, но на меня сразу повеяло холодом, и стало зябко, хотя на улице и в автобусе было сравнительно тепло. Как будто холод исходил от самой женщины или от ее узелка. Я инстинктивно отодвинулся к окну, сунув к себе меж колен руки, словно их прихватил мороз. Гладкая прическа и воткнутый на затылке гребень, полукруглый и коричневый, открывали ее такие белые, такие тонкие, как бумага, уши, что висячие золотые якорьки сережек, казалось, вот-вот оборвут их. Женщина как-то сразу откинулась на спинку сидения и склонила на бок голову. Сбоку мне было видно, как подрагивает ее веко.

Автобус, несколько раз качнувшись, тронулся, и мы поехали дальше. До Бондарей теперь уже было рукой подать, и я с нетерпением стал всматриваться – не покажется ли наша церковь с голубым, как раскрытый парашют, куполом. Церковь всегда показывалась первой, с какой бы стороны ни подъезжать к селу. Коротко стриженные, обкошенные поля золотились стерней. Как сараи под соломенными крышами среди полей стояли стога. Взгляду не во что было упереться, и я снова посмотрел на сидящую рядом со мной женщину. Казалось, что она заснула, и я почему-то вздрогнул, боясь, что она уже больше никогда не проснется. Дыхание ее было

настолько слабым, что грудь под тонким крепдешинном совсем не колебалась, только ниже, где-то под ложечкой часто-часто пульсировал родничок.

– Ишь, барыня развалилась! – недовольно заворчала та говорливая женщина с батонами. – Малого к самой стенке притиснула. С гулянок, видать. Уморилась, как же, под лопухами.

– Да, ладно тебе, Нюрашка, ворчать да злиться, кабы сама молодой не была. Видишь, девке нехорошо, может, хвораю она, а ты на нее с градом, – беременная ее соседка жалостливо поглядывала на вошедшую.

– Как же, хвораю! Мы эту хворь знаем, сами по молодости хворали, когда залетали нечаянно, – не унималась первая.

«Куда это они залетали? – думал я. – Самолеты к нам садились только почтовые, с маленькой открытой кабиной, где второму человеку не поместиться. Там одному-то сидеть тесно. А эта баба даже по молодости вряд ли поместилась бы туда...»

Что-то теплое и липкое стало просачиваться под меня, и я инстинктивно провел по сидению рукой. Моя ладонь и мои пальцы были в красном смородиновом соке. Сидящая со мной женщина, наверное, опрокинула свой узелок, а там была банка с вареньем – вот сок и протек. Но узелок у женщины на коленях был чистым и легонько покачивался в такт движению автобуса. Я посмотрел еще раз на сидение – по темному дерматину растекается смородиновый сок, точно такой же, как делала моя бабушка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.